

A black and white portrait of a young man with short, light-colored hair, wearing a dark jacket over a collared shirt. The portrait is set against a grey background and is torn out of the yellow cover.

ПАВЕЛ
НИКОЛАЕВ

Обречённые временем

*Штрихи
к портрету
эпохи*

A red-tinted illustration of a busy street scene with many people walking. In the background, there is a large building with a banner that reads "НА ОБОИХ БЕРИНАХ ТОВАРИЩИ".

18+

Павел Николаев

**Обречённые временем.
Штрихи к портрету эпохи**

«У Никитских ворот»

2026

УДК 929
ББК 63.3(2)6

Николаев П. Ф.

Обречённые временем. Штрихи к портрету эпохи /
П. Ф. Николаев — «У Никитских ворот», 2026

ISBN 978-5-00246-577-4

В книге, предлагаемой вниманию читателей, рассказывается о советских писателях и поэтах в критические годы их жизни и жизни страны. Это было сложнейшее время. Сложными оказались и судьбы А. Ахматовой, С. Есенина, Б. Пастернака, А. Твардовского, А. Толстого, К. Федина, М. Цветаевой... О том, как знатоки и врачеватели человеческих душ воспринимали лихие годы, как реагировали на трудные повороты отечественной истории, и повествуется на страницах книги, имеющей подзаголовок «Штрихи к портрету эпохи, или писатель в оной». Внимание! Содержит ненормативную лексику! В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 929
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-00246-577-4

© Николаев П. Ф., 2026
© У Никитских ворот, 2026

Содержание

Часть первая	6
«Окаянные дни»	6
«Иззябся я в Париже»	25
«Я признал и отказался»	29
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Павел Николаев

Обречённые временем

Штрихи к портрету эпохи

Посвящается Андрею, сыну и одному из сегодняшних защитников Отечества

*Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришёл. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!*

*Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной – с Тобою было...*

О. Берггольц

© Николаев П.Ф., 2026

© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2026

Часть первая Жизнь не радует

«Окаянные дни»

Таковыми они были для состоятельной (и небольшой по численности) части населения России после Октябрьской революции 1917 года. «Быдло», как богатенькие называли крестьян и рабочих, напротив, встретило Октябрь с упоением (особенно творческая молодёжь столиц). Внешне период 1918–1920 годов действительно был окаянным для простых людей: Гражданская война, разруха, голод, эпидемии, – но всё сглаживала вера в светлое будущее, усиленно пропагандируемая большевиками. Воспевая павших за дело трудящихся, Сергей Есенин писал:

*Спите, любимые братья,
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.*

*Новые в мире зачатъя,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.*

*Солнце златою печатью
Стражей стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.*

Именно так – «к зорям», то есть к счастью, да ещё и вселенскому.

Реквием по погибшим в ноябрьских боях создавался по заказу тех, кто обещал народу счастливую жизнь, а вот что писал в те дни об этих обещаниях пролетарский писатель Максим Горький:

«Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились ядом власти, о чём свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к „социальной революции“ – на самом деле это путь к гибели пролетариата и революции.

Эти вожди взбунтовавшихся мещан, фантазёры из Смольного проводят в жизнь нищенские идеи Герцена, а не Маркса, развивают пугачёвщину, а не социализм. Они же пропагандируют всеобщее равенство и материальную бедность» (М. Горький «Несвоевременные мысли»).

Все необыкновенно веселы. Почти год, с осени 1917-го до начала лета 1918-го, И.А. Бунин жил на Пречистенке, 26. Иван Алексеевич любил этот аристократический район города. С ним было связано начало волнующих воспоминаний.

Писатель бывал в Москве наездами, обычно по издательским делам. Почти в первый же приезд в старую столицу он встретился с Л.Н. Толстым, своим литературным кумиром. Г.Н. Кузнецова, прожившая несколько лет в семье Буниных, говорила:

– Толстой незаметно живёт с нами в наших беседах, в нашей обычной жизни.

Известен и тот факт, что даже в последний день жизни Бунин держал подле себя томик Льва Николаевича. Последняя встреча писателей была случайной и произошла на Арбате.

Чаще всего Иван Алексеевич останавливался у брата Юлия, жившего в Староконюшенном переулке, 32. Или у родственников жены в Столовом переулке. Здесь Бунин работал над повестью «Деревня». Жена писателя вспоминала:

– Мы жили вдвоём в нашем особняке в Столовом переулке, Иван Алексеевич по двенадцать часов в день писал «Деревню», вторую часть; только по вечерам мы ходили гулять по переулкам.

Кстати, свою будущую жену Иван Алексеевич тоже встретил недалеко от Поварской, в путанице арбатских переулков. Литератор Борис Зайцев писал, что это здание кораблём вздымалась на углу Спиридоновки и Гранатного. «Над переулком свешивались ветви чудесных тополей и лип особняка Леонтьева. Недалеко дом Рябушинского с собранием икон. Недалеко и церковь Вознесения, – белая, огромно-плавная, с куполом-небосводом». По словам Зайцевых, в этот дом заглядывали, кроме Бунина, Бальмонт и Сологуб, Городецкий и Чулков, Андрей Белый.

Словом, район Поварской и Арбата был хорошо знаком Бунину, и неслучайно в стихотворении «Москва» он упомянул его: здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый городок.

В этом особом городке и работал Иван Алексеевич зиму 1917–1918 годов над своей самой горькой книгой «Окаянные дни». Подводя итоги прошедшего года, Бунин описывал 14 (1) января:

«Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто ещё более ужасное. Даже, наверное, так.

А кругом нечто поразительное: почти все почему-то необыкновенно веселы – кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит:

– Да полно вам, батенька! Через две-три недели самому же совестно будет...



И. Бунин

Бодро, с весёлой нежностью (от сожаления ко мне, глупому) тиснет рукой и бежит дальше».

Говоря обо всех, писатель имел в виду верхи интеллигенции и буржуазной прослойки столичного населения. А весёлость их объяснялась ожиданием близкого прихода немцев. Бунин не разделял энтузиазма этих «патриотов» и через месяц после новогодней записи запечатлел следующую сценку на Лубянке:

«Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить:

– Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже, и первым делом нам же, народу!

Перебивая её, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут и всем придётся расплачиваться за то, что натворили.

– Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, – холодно сказал рабочий и пошёл прочь.

Солдаты подтвердили: „Вот это верно!“ – и тоже отошли».

Писатель был против новой власти и не скрывал этого, но избавления от большевиков посредством иноземного вторжения не желал. Свобода, но не любой ценой!

В конце февраля Бунин столкнулся на Поварской с солдатом, оборванным, тощим и вдрызг пьяным. Ткнувшись лицом в грудь Ивана Алексеевича, солдат отшатнулся, плюнул и заорал:

– Деспот, сукин сын!

Этот случай удручающе подействовал на совестливого писателя. Придя домой, он начал копаться в своём прошлом: «Сижу и разбираю свои рукописи, заметки и как раз нахожу кое-какие доказательства своего деспотизма. Вспомнилась зима шестнадцатого года в Васильевском, спор с почтальоншей:

– Махоточка, опять приписала за доставку? И ещё прибавить просишь?

– Барин, ты глянь, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу выбило. Опять же, стыдь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать вёрст туда и назад...

Сунув почтальонше рубль, Бунин посмотрел двор. За окном всё сияло от снега и месяца. Чувствовалось, что мороз был нешуточный. И тотчас представилось бескрайнее белое поле, промёрзшие розвальни, ухаюющие по буграм дороги, бокастая лошадинка, обросшая изморозью.

Иван Алексеевич зябко передёрнул плечами и прошёл в кабинет. Вскрыл телеграмму: «Вместе со всей Стрельной пьём славу и гордость русской литературы!»

«Вот из-за чего двадцать вёрст ступала Махоточка по ухабам, – подумал сейчас Иван Алексеевич. – Ну, чем не деспотизм?»

Между тем новые хозяева прибирали к рукам дворянские особняки на Поварской. Анархисты захватили дом Цетлиных. Над подъездом появилась чёрная вывеска. 21 марта Бунин записывал: «Великолепные дома возле нас реквизируются один за одним. Из них всё вывозят и вывозят куда-то: мебель, ковры, картины, цветы, растения – нынче весь день стояла на возу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная».

В советской столице Иван Алексеевич оставаться не собирался и ждал случая, чтобы распрощаться с ней. А пока почти каждый день ходил по первопрестольной, наблюдая за жизнью толпы и умиранием города. До закрытия Кремля успел побывать в нём. 20 февраля отметил в дневнике: «Вечером на Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный, наезженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина. Огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом, точно вырубленным из дерева. Вышли из Кремля – бегут и с восторгом, с неестественными ударами кричат мальчишки:

– Взятие Могилёва германскими войсками!»

В записях писателя зимой – весной 1918 года встречаются названия московских улиц, на которых он бывает: Тверская, Петровка, Ильинка, Лубянка, Никитская, Мерзляковский переулок, гостиницы «Прага» и «Националь», Большой театр. Возвращение из последнего вызвало у Бунина ассоциацию с далёким прошлым:

«Когда вышли из театра, между колонн чёрно-синее небо, два-три голубых пятна звёзд и резко дует холодом. Ехать жутко. Никитская без огней, могильно-темна, чёрные дома высятся в тёмно-земельном небе, кажутся очень велики, выделяются как-то по-новому. Прохожих почти нет, а кто идёт, так почти бегом.

Что Средние века! Тогда, по крайней мере, все вооружены были, дома были почти неприступны...

На углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то и другое».

В Москве писатель был нечастым гостем, но хорошо знал этот город и любил его. Первопрестольную Бунин оставлял со смешанным чувством – сожаления и горечи, о чём убедительно свидетельствует одна из последних дневниковых записей, сделанная им на Поварской:

«„Вон из Москвы!“ А жалко. Днём она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, всё мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лёд, про толпу и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем тёмный – и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, силуэт старинного

дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, чёрный узор его громадного раскидистого шатра...»

3 июня Бунин оставил Москву, не подозревая о том, что с Савёловского вокзала столицы начинается путь, который навсегда оторвёт его от горячо любимой многострадальной родины.

Кафе поэтов. Свидетелем его рождения случайно стал известный в последующие годы артист И.В. Ильинский. «Однажды, – рассказывал он, – идя на занятия в студию Комиссаржевского по Настасьинскому переулку, я заметил, что в одном из маленьких низких домов, где помещалась раньше прачечная или какая-то мастерская, копошатся люди. В помещении шёл ремонт».

На следующий день Игорь Владимирович обратил внимание на то, что ремонтом занимались отнюдь не рабочие: два человека расхаживали вдоль стен и наносили на них беспорядочные мазки. Приплюснув нос к оконному стеклу, Ильинский пытался разобраться в хаотичности стенных росписей. «„Маляры“ заметили это, подошли с кистями к окну и начали мне делать какие-то знаки. Один был большого роста, другой, коренастый, – поменьше. О чём они спрашивали меня, я не мог расслышать, но, по-видимому, они спрашивали, нравится ли мне их работа. Я отвечал им соответствующей мимикой, которая выражала моё неясное отношение к их художеству. Коренастый быстро нарисовал кистью на стекле окна круг и на круге – студенческую фуражку. Затем появились точки глаз, приплюснутый нос и линия рта. Он спросил знаками, нравится ли мне мой портрет. Я отвечал утвердительно. Тогда другой нарисовал рядом ещё круг, приделал к нему студенческую фуражку, а в круге поставил вопросительный знак. После этого художники отошли от окна. Я полюбовался моим портретом и пошёл на занятия».

В Настасьинском переулке литературное кафе, получившее название «Домино», пребывало недолго. Вскоре после Февральской революции его перевели на Тверскую, в дом 18, напротив построенного позднее здания Центрального телеграфа. Кафе занимало первый этаж указанного дома, а на втором находилась лечебница для душевнобольных. Такое соседство очень нервировало завсегдатаем – футуристам – и радовало их многочисленных противников. О визитёрах кафе поэт А. Мариенгоф писал:

«О посетителях придётся сказать так: комиссарская доха из лошадиного меха, овчинный полушубок, побуревший от фронтовых непогод, чекистская кожаная куртка, интеллигентская шуба с облезлым котиковым воротником-шалью, пальтецо, подбитое ветром...»

Курили мужчины, курили женщины. Причём на каждую обыкновенную приходилось примерно две проститутки. Пар валил не только из открывающихся ртов, но и от стаканов с морковным чаем. Температура в зале была ниже нуля, но не настолько ниже, чтобы могла охладить литературные страсти».

В кафе было два помещения: первое – побольше, с эстрадой, второе – поменьше. В последнее вела лестница в три-четыре ступени с зеркалами по сторонам её; оно было доступно только именитым гостям.

Общий зал «украшали» брюки поэта В.В. Каменского, распластанные на центральной стене, многочисленные рисунки и стихи, цитаты из Блока, Белого, Брюсова и имажинистов. Под брюками были выведены следующие строки:

*Будем помнить Стеньку,
Мы от Стеньки. Стеньки кость,
И пока горяч кистень, куй,
Чтоб звенела молодость.*

Первая послереволюционная зима. В начале ноября в Москву вернулся В.В. Маяковский, который сразу выступил в поддержку советской власти, большевиков. Он почти не

сходил с эстрады кафе поэтов: произносил зажигательные речи, читал стихи, во весь голос распевал (на мотив «Ухаря-купца») частушку:

*Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй.*

Состав посетителей кафе заметно изменился: его стали посещать большевики, появилось много никому не известных поэтов, которых Маяковский призывал служить революции:

– Чёрт возьми, поэты пошли косяком, руном, как вобла ходит. А где же осетры? Белуги? Киты? Рабочая революция требует осетров! Надо давать громадные вещи и с такой хваткой, чтобы буржуев и генералов брало за горло. Истинная поэзия обязана служить делу пролетарской революции.

Признавая красоту и пластичность стихов Игоря Северянина и Сергея Есенина, Маяковский отметал их творения как не служащие делу борьбы за построение новой жизни.

– Есенинские «берёзки» хоть и хороши, – говорил поэт, – но с ними на белых бандитов не пойдёшь. С изящными изделиями Северянина тоже в бой не сунешься. А между тем большинство выступающих здесь новеньких поэтов подражают с лёгкостью балерины Северянину и Есенину. И получается альбомная забава, а ничуть не поэзия общественного значения.

Обладая острейшей памятью на стихи, Маяковский приводил примеры из услышанного в кафе:



Вл. Маяковский

Мимо ходят «котики»,

*Смотрят мне на ботики.
Я стыжусь немножко,
Ведь дальше идёт ножка.*

Автор этого опуса – милая, славная девушка – оказалась в это время в кафе и попеняла Владимиру Владимировичу:

– Не всем же быть Маяковскими!

– А почему же не всем? – улыбнулся поэт.

– Это трудно, и мне не очень понятно, что такое происходит – какая история...

– Какая? Не знаете? – удивился Маяковский и посоветовал: – Вы сидите рядом с большевиками. Это замечательные соседи. Пожалуйста, познакомьтесь, побеседуйте. Они объяснят вам всё с большим удовольствием.

Поэт не только защищал и пропагандировал новый строй, но и растил его адептов:

*Будущее не придёт само,
Если не примем мер.
За жабры его, – комсомол!
За хвост его, – пионер!*

Афиша. Москва утопала в сугробах. Никто не подметал тротуаров, не чистил улиц. Громадный город, кипучий и деятельный, с недавно утвердившейся новой властью, рассылавший по всей стране свои декреты, казался вымершим. От обильной россыпи магазинов, ресторанов, трактиров и лавочек остались случайные крохи. Одной из них было кафе поэтов на Тверской. Неудивительно, что в него стекалась весьма разношёрстная публика. В романе-воспоминаниях «Богема» имажиниста Рюрика Ивнева есть такие строки:

– Какое же это кафе? Какой-то притон – проститутки, тёмные личности, нерасстрелянные спекулянты...

Да, были и такие посетители, ибо давали основной доход, на который содержалось это заведение. Но в кафе всё же преобладал дух высоких страстей и устремлений:

*Когда пред часом сердце наго
В кровавой смуте бытия,
Прими свой трудный миг как благо,
Вечерняя душа моя!*

*Пусть, в частых попытках поникая,
Сиротствует и плачет грудь,
Но служит тайне боль людская
И путь тревоги – Божий путь...*

*И лишь творя свой долг средь тени,
Мы жизнью возвеличим мир
И вознесём его ступени
В ту высь, где вечен звёздный мир...*

*И вещей трепет жизни новой,
Скорбя, лишь тот возрастит в пыли,
Кто возлюбил венец терновый*

И весь отрёкся от земли...

Юргис Балтрушайтис

Частыми посетителями кафе были С. Есенин, А. Кусиков, В. Шершеневич и А. Мариенгоф. Последний – высокий, красивый, выхолненный – с явным пренебрежением относился к заведению «Общества поэтов». Характерен в этом плане разговор с Рюриком Ивневым, который проходил на Тверской после их выхода из кафе.

– Сколько вокруг всякой мрази, – говорил Мариенгоф, глядя вперёд и пронзая пространство своими ставшими вдруг грустными глазами. – И только подумать, что для них мы творим и сжигаем себя в огне творчества! Я смотрел на лица, заполняющие кафе, они повсюду, где собираются поэты, художники и артисты; здесь только рельефнее выступают лавочники, мясники, спекулянты, чинуши. Среди них отдельными изюминками в тесте попадаются и настоящие люди. Их мало, очень мало, и всё-таки, как ни больно в этом сознаться, мы пишем главным образом для них и для них атакуем форпосты славы. Хорошую книгу стихов не пропустит ни один знаток поэзии, но славу делают не знатоки, а толпа, которая ни черта не понимает в искусстве. Какая подлость сидит в наших душах, и мы, зная цену её похвалам, добиваемся её одобрения.

– Никогда не думал о толпе, – небрежно ответил Ивнев.

– Не лги, Рюрик, – тихо, но твёрдо сказал Мариенгоф, – не лги хотя бы самому себе – это глупо, но... когда я вижу своё имя в газете, готов просверлить глазами бумагу, бываю почти счастлив. Хорошо это или плохо, глупо это или умно, но это так.

Ивнев молчал, зная, что люди часто раскаиваются за минуты откровения.

Большими хлопьями падал снег. Холодные стёкла пустых витрин тускло поблёскивали сквозь деревянные доски, похожие на скрещённые руки. На стенах домов были расклеены афиши; одна из них привлекла внимание Ивнева, и он спросил своего попутчика:

– Ты давал согласие на выступление?

– Какое выступление?

– Взгляни на афишу.

– Что такое? – воскликнул Мариенгоф и прочитал вслух: – «В воскресенье, 5 февраля, в Большом зале Политехнического музея состоится состязание поэтов». Какая ерунда! Кто это выдумал? Несколько десятков выступающих, среди них – моя фамилия. И твоя тоже! Меня никто не предупреждал, я не получал никаких приглашений, тебя тоже не предупреждали: какая наглость! Я ни за что не выступлю и буду протестовать через газеты против такого бесцеремонного обращения с моим именем.

Выпалив всё это, Мариенгоф сразу успокоился и решил: никаких писем в редакции, надо отомстить организаторам состязания поэтов прямо на вечере. Эта мысль так развеселила приятелей, что у Ивнева тут же сложилось стихотворение, которое он поспешил запечатлеть на бумаге:

Странен мир, исполненный блаженства.

Странно всё: моря его и твердь.

И за миг земного совершенства

Мы идём на пытки и на смерть.

Зная, что любовь недостижима,

Мы стремимся, будто к солнцу, к ней.

И когда она проходит мимо,

Всё мы видим глубже и ясней.

Мариенгоф попросил зачитать так внезапно родившиеся строки. Ивнев прочитал.

– Сейчас так не пишут, – укорил его приятель.

– А как?

– Слушай:

*Заколите всех телят,
Аппетиты утолять.
Изрубите деревья
На горящие дрова.*

*Иссушите речек воды
Под рукой и вдалеке,
Требушите неба своды
В разъярённом гонимке.*

*Загасите все огни,
Ясным радостям сродни,
Потрошите неба своды,
Озверевшие народы.*

– Когда это ты написал? – удивился Ивнев.

– Это не я, это Давид Бурлюк.

На Страстной площади поэты пожали друг другу руки и разошлись.

...Это была странная дружба. Насмешник и остролов, Мариенгоф был ещё и крайне ревнив к успехам других. Об этой стороне его характера Ивнев писал: «Несмотря на искреннее желание, чтобы мои литературные дела шли хорошо, он, когда я рассказывал о какой-либо особенной удаче, никогда не выражал своей радости, потому что, где всё идёт гладко, там нет материала для острот».

И все знали, что ради красного словца Мариенгоф не пожалеет и отца родного.

1919 год. Это было страшное время для страны. В одной Москве свирепствовали три эпидемии – холеры, испанки и сыпного тифа. По городу расклеивали плакаты, на которых изображалась громадная коричневая вошь, перечёркнутая словами Ленина: «Вошь или социализм?» А в кафе поэтов изощрались в стихоплётстве и подсаживали друг друга. Каверин вспоминал, например, о выступлении поэта С-ва:

«Этот смельчак стоял на эстраде и читал свои стихи. Его не слушали: стихи были плохие. Он оборвал на полуслове и вдруг в длинной, запутанной фразе, которую он старательно выговаривал, заранее пугаясь того, что он скажет, он обвинил Есенина в плагиате... у Рильке. Это было, разумеется, вздором, который мгновенно потонул бы в насмешках, посыпавшихся со всех сторон, если бы на лесенке не появился Есенин.

Он был в цилиндре, с накрашенными губами, это не только не шло ему, но выглядело ненужным и жалким. У него было доброе юношеское лицо, не потерявшее спокойной доброты и внимания, когда он слушал высокий, возбуждённый голос, старавшийся перекричать зал.

Видно было, что он удивился, но не очень, и, спустившись на ступеньку, послушал ещё, кажется, желая удостовериться в том, что С-в действительно обвиняет его в плагиате. Потом быстро, как мальчик, сбежал вниз, вскочил на эстраду и ловко ударил его по щекам, сперва слева направо, потом справа налево. Все закричали сразу. С-в отпрыгнул, как кузнечик, – это было смешно – и закричал, размахивая руками.

В кафе послышался звон разбитой посуды. Это ничевоки ринулись в зал, ещё не зная, кого бить, но уже засучивая на ходу рукава. Всё смешалось, зашаталось, дрогнуло. Есенин стоял раздумывая. У него был сконфуженный вид. Он снова двинулся было к С-ву, кажется, собираясь объяснить, за что он его ударил, но тот снова отпрыгнул. С недоумением махнув рукой, Есенин спустился с эстрады».

* * *

Кафе принадлежало Союзу московских писателей, и как-то в нём остался на ночь А.Б. Мариенгоф. Разбудило его весёлое весеннее солнышко. Анатолий Борисович протёр глаза и протянул руку за часами, которые клал на стул. Их не было. Пошарил под диваном, заглянул под стул и изголовье. Часы исчезли.

Вспомнил про бумажник, в котором были деньги обедов на пять, сумма для него значительная. Бумажник тоже пропал. Выругался:

– Вот сволочи!

Потянулся за брюками – нет брюк! Нагнулся за ботинками – и ботинок нет. Так постепенно Мариенгоф обнаруживал одну за другой пропажи: часы, бумажник, ботинки, брюки, пиджак, панталоны, галстук, носки. Подивился поэт такой очерёдности и стал ждать, кто первый придёт под благодетельный кров так подведшего его Пегаса, покровителя поэтов, окрыляющих их вдохновением и славой.

Знакомство. В начале сентября 1918 года из Пензы в Москву перебрался молодой поэт Анатолий Мариенгоф. Первые недели пребывания в столице жил во Втором доме Советов (гостиница «Метрополь») и был преисполнен необычайной гордостью – повезло. Ещё бы, при входе в здание – матрос с винтовкой, в вестибюле за столиком – красноармеец с браунингом выдаёт пропуск: отбирают его уже два красноармейца. Вечером воздушное существо в белом кружевном фартучке принесло чай. И всё это благодаря двоюродному брату Борису.

Около двенадцати ночи в номер вбежал маленький быстрый человек со светлыми глазами, светлыми волосами и короткой бородкой клинышком. Глаза его весело прыгали и останавливались на стопке книг, лежавших на углу стола. На обложке верхней было оттиснуто «Исход» и изображён некто звероподобный, уносящий в призрачную даль распустившуюся розу. Незнакомец раскрыл книгу и прочёл:

*Милая,
Нежности ты моей
Побудь сегодня козлом отпущения.*

Трёхстишие принадлежало Мариенгофу и именовалось им поэмой, которая, по его мнению, превосходила своей правдивостью и художественной силой все образы любви, созданные мировой литературой. Негодованию молодого поэта не было предела, когда незванный гость, разразившись смехом, громким и непристойным, воскликнув к тому же:

– Это замечательно! Я ещё никогда в жизни не читал подобной ерунды.

На это признание Борис ткнул пальцем в сторону брата:

– А вот и автор.

Незнакомец дружески протянул поэту руку. Когда он ушёл, унося с собой первый альманах имажинистов, Анатолий, дрожа от гнева, спросил брата:

– Кто этот идиот?

– Бухарин! – коротко ответил Борис.

К удивлению Мариенгофа, в тот памятный вечер решила его судьба: он стал литературным секретарём издательства Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов. Издательство размещалось в здании на углу Тверской и Моховой улиц. Из окна Анатолий наблюдал за жизнью первой из них: «По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: „Мы требуем массового террора“». Неожиданно кто-то легонько тронул ответственного работника за плечо:

– Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константину Степановичу Еремееву?

У стола стоял паренёк в светлой синей поддёвке, под ней – шёлковая рубашка. Волнистые светлые волосы с золотым отливом. Большой завиток падал на лоб и придавал незнакомцу нечто провинциальное. Но голубые глаза, по едкому замечанию Мариенгофа, делали лицо умнее и завитка, и синей поддёвочки, и вышитого, как русское полотенце, ворота шёлковой рубашки.

– Скажите товарищу Еремееву, – продолжал обладатель хороших глаз, – что его спрашивает Есенин.

Молодые поэты быстро сдружились. По заверениям Мариенгофа, Сергей каждый день приходил к нему в издательство. На стол, заваленный рукописями, он клал свёрток (тюречок) с... солёными огурцами. На стол бежали струйки рассола, которые фиолетовыми пятнами расплазались по рукописям. Есенин поучал младшего собрата по перу:

– С бухты-барахты не след идти в русскую литературу. Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботинках и с пробором волос к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брюках из-под утюга! Кто этому поверит? Вот смотри – Белый. Волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского однотоного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А ещё очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят...

Шутом Мариенгоф не хотел быть и решительно возражал. Сергей смеялся на резоны приятеля и переводил разговор на себя:

– Тут, брат, дело надо вести хитро. Пусть каждый считает: я его в русскую литературу ввёл. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввёл? Ввёл. Клюев ввёл? Ввёл. Соллогуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом, и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев...

Благодарности к своим ранним покровителям Есенин не испытывал. Приятель удивлялся, а Сергей выдавал сокровенное, спрятанное от чужих глаз:

– Таскали меня недели три по салонам – похабные частушки распевать под тальянку. Для виду сперва стишки попросят. Прочту два-три – в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай... Ух, уж и ненавижу я всех этих Соллогубов с Гиппиусихами!

Уже зная, что его новый друг склонен всё преувеличивать, Мариенгоф уточнял: так уж и всех? И Есенин вносил коррективы в свои откровения:

– Рюрик Ивнев... к нему я первому из поэтов подошёл. Скопил он на меня, помню, лорнет, и не успел я ещё стишка в двенадцать строчек прочесть, а уже он тоненьким таким голоском: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально!» – и, ухватив меня под руку, поволок от знаменитости к знаменитости, свои ахи расточая тоненьким голоском. Сам же я – скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому не гляжу. Потеха!

Хорошо отзывался Есенин о А. Блоке, отдавал должное Н. Клюеву и другим. Словом, неблагодарным не был, хотя временами его, что называется, заносило. И это дало Мариенгофу повод написать в «Романе без вранья»: «Есенин никого не любил, и все любили Есенина». Выражаясь осторожно, спорное заключение.

Мандат. Этому эпизоду своей жизни поэт А.Б. Мариенгоф предпослал следующие строки: «Силы такой не найти, которая б встрясла из нас, россиян, губительную склонность к искусствам: ни тифозная вошь, ни уездные кисельные грязи по щиколотку, ни бессортирье, ни война, ни революция, ни пустое брюхо».

Итак, поздней ночью осени 1918 года возвращался Анатолий Борисович в родные пенаты. Только собирался свернуть в Козицкий переулок, как услышал крик:

– Иностранец, стой!

На «иностранце» были хорошее (деллосовское) пальто и цилиндр. Это ввело в заблуждение небольшую компанию (человек пять), разом отделившуюся от стены Елисеевского магазина.

– Гражданин иностранец, ваше удостоверение личности, – потребовал один из них.

– По какому, товарищи, праву вы требуете у меня документ? – возмутился Мариенгоф. – Ваш мандат.

– Мандат?

Парень в студенческой фуражке помахал перед лицом поэта револьвером.

– Вот вам, гражданин, и мандат!

Мариенгоф с надеждой оглянулся вокруг. По расковырянной мостовой ковылял на кляче извозчик. Увидев подозрительную группу, стал нахлёстывать своего буцефала, и тот стреканул карьером. У кафе «Ли́ра» дремал сторож, который тоже не замедлил убраться в переулок. Дело принимало нежелательный оборот.

– Может быть, от меня требуется не удостоверение личности, а пальто? – выдавил из себя задержанный.

– Слава тебе, господи... догадался!

Вожак встал позади поэта и, как хороший швейцар, стал помогать ему раздеваться. Мариенгоф пытался шутить, но было совсем невесело. Пальто он только-только приобрёл: хороший фасон и добротный английский драп. Расставаться с ним не хотелось. И тут произошло нечто непостижимое: один из грабителей, взглядевшись в расстроенное лицо Анатолия Борисовича, спросил:

– А как, гражданин, будет ваша фамилия?

– Мариенгоф.

– Анатолий Мариенгоф?

Поэт подтвердил догадку вопрошавшего, а тот уточнил:

– Автор «Магдалины»?

Это было потрясение – его узнали в ночной темноте улицы! Мало того – значит, его знали, читали или слышали его стихи. К тому же это была не избранная публика московских ресторанов и кафе, а откровенные бандиты. И хотя Мариенгоф был не на сцене Политехнического музея перед бушующей аудиторией, неистовствующей в одобрении или осуждении, он был потрясён, о чём писал позднее:

«В этот счастливый и волшебный момент моей жизни я не только готов был отдать им деллосовское пальто, но и добровольно приложить брюки, лаковые ботинки, шёлковые носки и носовой платок. Пусть дождь! Пусть не совсем приятно возвращаться домой в подштанниках! Пусть нарушено равновесие нашего бюджета! пусть! тысяча раз пусть! – но зато какая сложная лакомая и обильная жратва для честолюбия – этого прожорливого Фальстафа, которого мы носим в своей душе!»

Рыцари подворотен не только не тронули заинтересовавшее их пальто, но ещё проводили Мариенгофа до дома и извинились за «недоразумение».

Хлеб и поэзия. После длительного путешествия в июле 1920 года Н. Заболоцкий и М. Касьянов (приятель Николая по реальному училищу в Уржуме) добрались до Москвы. Целью

их нелёгких странствий был историко-филологический факультет университета. Там их обещали принять, но не могли кормить, а есть семнадцатилетним парням очень хотелось.

– Не помню теперь, – говорил позднее Касьянов, – у кого возникла мысль о поступлении на медицинский факультет с тем, чтобы по вечерам заниматься литературой, а может быть, даже и учиться на историко-филологическом факультете и одновременно на медицинском.

Студенты-медики считались военнообязанными и потому получали паёк, который был по тому голодному времени просто сказочным – полтора больших солдатских каравая хлеба, сливочное масло, сахарный песок, селёдка или вобла. Всё это на месяц. Жили от пайка до пайка.

– После получения всех этих благ, – вспоминал Касьянов, – мы сейчас же, незамедлительно, шли в чайную, резали хлеб, намазывали его маслом, посыпали сахарным песком и запивали всё это кипятком. Мы вдвоём съедали за один присест четверть каравая, фунтов пять, не меньше, хлеба.

Паёк улетучивался за полторы-две недели. Дальше жили ожиданием его. Это отразилось в «гимне», сочинённом Заболоцким вскоре после начала занятий в университете:

*Утром из чайной
Рано, чуть свет,
Зайдёшь не случайно
В университет.
В аудитории сонной
Чувства не лгут:
На Малой Бронной
Хлеб выдают.
Сбегать не грех.
Очередь там небольшая —
Шестьсот человек.
Улица Остоженка,
Пречистенский бульвар,
Все свои галоши
О вас изорвал.*

Осень 1920 года была в Москве сухой и солнечной, но начинающий поэт расхаживал по городу в сапогах с надетыми на них галошами, так как подмётки отваливались.

Планы в отношении учёбы на двух факультетах осуществить не удалось – всё дневное время поглощали занятия медициной. Но по вечерам случалось попасть в театр (чаще всего бесплатно). Бывали в кафе поэтов «Домино» на Тверской. Но особенно любили ходить в Политехнический музей на диспуты и литературные вечера. Слушали здесь выступления пролетарских поэтов А. Гастева, М. Герасимова, В. Кириллова. Особенно запомнился В. Маяковский.

В один из вечеров поздней осени Владимир Владимирович читал «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума». Восторженная публика окружила поэта и долго не выпускала его. Маяковский пошутил:

– Ну, теперь стоит только меня побелить, и я буду сам себе памятник.

Слушали приятели и поэму «150 000 000» в декламации автора. По этому поводу Касьянов говорил:

– Николай не очень любил Маяковского, но не мог противиться его темпераменту, проявляющемуся во время чтения и особенно во время диспутов с противниками. Тогда Николай вместе со всеми аплодировал и одобрительно кричал. Но стоило закончиться чтению, как Николай возвращался к обычному сдержанному отношению к Маяковскому.

Однажды, спускаясь по лестнице после окончания вечера, Владимир Владимирович нечаянно наступил Касьянову на ногу. Заболоцкий долго подшучивал над приятелем по этому поводу, советуя сдать отдавленную стопу в музей. При встречах с сокурсниками Николай Алексеевич хватал ногу Касьянова, поднимал её для всеобщего обозрения и возглашал:

– Смотрите, вот эта нога!

Шутили, радовались, а жизнь неумолимо предъявляла свои права. В январе 1921 года у студентов-медиков сняли их особый паёк. Как и все москвичи, они стали получать хлеб по полфунта, потом по четвертушке, а то и по осьмушке. Голодать на ненужном факультете не имело смысла, и вскоре Заболоцкий оставил Москву.

Не начертали. В двадцатые годы прошлого столетия широко было известно стихотворение Тимофеева «Бублики»:

*Купите бублички, горячи бублички,
Гоните рублики, да поскорей...*

Наши прадеды танцевали под эти слова фокстрот. Но это, пожалуй, и всё, что дошло к нам из поэтического далёка Гражданской войны и НЭПа. Сам Тимофеев надеялся на большее, значительно большее. Вот с каким посланием обращался он к далёким потомкам, к нам с вами:

*Потомки! Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву, —
Народных гениев удел,
Неувядаемую славу!
И пусть на карте вековой
Имён народных корифеев,
Где Пушкин, Лермонтов, Толстой, —
Начертан будет Тимофеев!*

Не вышло! Не начертали! Можно обмануть, ввести в заблуждение людей, но не время. Время всё расставляет по своим местам.

Автор знаменитой фразы. Своё столетие А.Я. Шнеер отметил 25 декабря 1992 года. Прожито немало, да и сделано тоже.

Александр Яковлевич посвятил свою жизнь искусству: театру, эстраде, цирку. В энциклопедиях – Большой советской, Театральной и Цирковой – его перу принадлежит несколько тысяч статей.

Предметом особой гордости учёного была Цирковая энциклопедия. Собиралась она буквально из ничего, в годы, когда такой науки – цирковедения – не существовало. Справочник получился великолепный, выдержал два издания. Артисты цирка благоговели перед именем Шнеера.

Это был человек энциклопедических знаний, но своё имя в историю страны вписал единственной фразой: «Мы не рабы, рабы не мы». Невозможно сказать, сколько сотен миллионов раз выводилась она неуверенной рукой по всем городам и весям молодой советской России, вершившей культурную революцию. Эта фраза вошла во все учебники для обучающихся грамоте и стала символом просвещённого социализма.

Вечера в Политехническом. Это один из старейших научно-технических вузов мира. Создан он в 1872 году по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Первые пять лет размещался во временном помещении на Пречистенке, 7. В 1877

году было завершено строительство его центральной части (Новая площадь, 3/4), в 1907-м – левого крыла с Большой аудиторией, которая считалась лучшей в Москве.

Эта аудитория сразу приобрела огромную популярность. В ней читали лекции крупнейшие русские учёные: Д.Н. Анучин, Б.И. Вернадский, В.А. Жуковский, П.П. Лазарев, П.Н. Лебедев, И.И. Мечников, Н.А. Умнов и многие другие. Москвичи слушали здесь курс С.М. Соловьёва «Общедоступные чтения о русской истории». В один из первых сезонов читал здесь цикл лекций о жизни растений К.А. Тимирязев. Их слушал будущий писатель В.Г. Короленко и так вспоминал о лекторе: «Высокий, худощавый блондин с прекрасными большими глазами, ещё молодой, подвижный и нервный, он был как-то по-своему изящен во всём. Свои опыты над хлорофиллом, доставившие ему европейскую известность, он даже с внешней стороны обставлял с художественным вкусом. Говорил он сначала неважно, порой тянул и заикался. Но когда воодушевлялся, что случалось особенно на лекциях по физиологии растений, то все недостатки речи исчезали, и он совершенно овладевал аудиторией».

Выступали в Большой аудитории писатели и поэты: В.Я. Брюсов, И.А. Бунин, В.В. Маяковский, К.И. Чуковский. Но особый расцвет поэтических вечеров пришёлся на первое десятилетие после революции 1917 года.

Первая мировая и Гражданская войны вызвали разруху, в стране свирепствовал бумажный голод. Книги выходили единицами, журналов было мало. Поэзия стала устной, и чтение стихов в Политехническом музее, в клубах и кафе в какой-то мере заменяло их печатание. Да и вообще, в литературе первых лет первенствовала поэзия, которая быстрее и лучше отражала текущие события, представляла на суд общественности путаницу литературных течений.

Одним из первых, запомнившихся москвичам вечеров было избрание короля поэтов 27 февраля 1918 года. По городу была расклеена афиша, в которой сообщалось о цели и порядке проведения вечера:

«Поэты! Учредительный трибунал созывает всех вас состязаться на звание короля поэзии. Звание короля будет присуждено публикой всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.

Всех поэтов, желающих принять участие в великом, грандиозном празднике поэтов, просят записываться в кассе Политехнического музея...»

Вечер проходил при переполненном зале. Председательствовал на нём Владимир Дуров, клоун-дрессировщик. На эстраде от поэтов было темно, как в трамвае. В проходах зала стояла безбилетная молодёжь.

Борьба за королевское звание развернулась между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным. В конце концов победил последний. Почитатели Маяковского устроили обструкцию победителю. Журнал «Рампа и жизнь» писал:

«Часть аудитории, желавшая видеть на престоле г. Маяковского, ещё долго после избрания Северянина продолжала шуметь и нехорошо выражаться по адресу нового короля и его верноподданных».

Этот вечер открыл собой серию других. На них поэты и публика вступали в прямой контакт: приговор – поддержка, одобрение, неприятие, успех – провал. Никогда большие поэты не были так близки к своему читателю, не ощущали так отчётливо пульс времени.

Конечно, много на этих вечерах было несовершенного, сурового, непрофессионального, непостоянного и нарочитого:

*Бублик лица положили на иголки меха.
К бордюру рельс глаза принизили.
Кнопки отчаянья торопливо въехали.
Чурбачки рук на перевалы чужих плеч вынесли.*

Это из «Прощанья» Б. Земенкова. Публика (за исключением отдельных групп, члены которых получили в наше время название фанатов) весьма прохладно принимала такую поэзию. Д. Бурлюк, например, в течение многих вечеров не мог прочесть стихотворение, которое начиналось следующей строфой:

*Мне нравится беременный мужчина,
Как он хорош у памятника Пушкину,
Одетый в серую тужурку,
И ковыряет пальцем штукатурку.*

Каждый раз поэта прерывали возмущённые выкрики, топанье ног и свист. Так и осталось неизвестным, что же случилось с беременным мужчиной.

Большой интерес москвичей вызвал смотр поэтических школ, проводившийся в осенне-зимний сезон 1921–1922 годов. Встречи, состоявшиеся в этот период, помогли любителям поэзии разобраться в хаосе литературных течений, школ, направлений и групп, которые плодились с невероятной быстротой. Дмитрий Фурманов писал в эти дни:

«Теперь кто же не считает себя поэтом, раз он посещает какое-нибудь литературное „кафе“ и раза три-четыре тиснет в журнал или в газету свои вымученные стишки? Да и не только называется поэтом – он ни мало, ни много претендует на школу, гремит о себе как новаторе, родоначальнике, чуть ли не гении».

4 ноября 1920 года в Большом зале консерватории состоялся суд над имажинистами. Современник вспоминал:

«Билеты были распроданы задолго до вечера, в гардеробной было столпотворение вавилонское, хотя большинство посетителей из-за холода не рисковали снять шубу. Там я услышал, как краснощёкий очкастый толстяк авторитетно говорил:

– Давно пора имажинистов судить! Ручаюсь, что приговор будет один: всем принудилловка!

Другой в шубе с хивинковым воротником, с бородой-эспаньолкой – как будто поддержал толстяка:

– Закуют в кандалы и погонят по Владимирке! – И, переменяя тон, сердито добавил: – Это же литературный суд!

Литературный! При чём тут принудилловка? Надо понимать, что к чему!»

На эстраде стоял длинный, покрытый зелёным сукном стол, а за ним сидели двенадцать судей, которые были выбраны из числа слушателей. Неподдалёку от судей разместились свидетели обвинения и защиты. Главным обвинителем был Валерий Брюсов, гражданским истцом – Иван Аксёнов.

Обвинительная речь Брюсова была написана с тонкой иронией. Её смысл сводился к тому, что нахождение имажинистов на передовых позициях литературы – явление временное, это – покушение на крылатого Пегаса с негодными средствами.

Имажинистов защищали С. Есенин, Ф. Жиц и В. Шершеневич. Фёдор Жиц был низкого роста, полный, голова крупная, лицо розовое. Поэты говорили о нём: «Катается как Жиц в масле». Жиц претендовал на философскую значимость, но получалось это у него плохо.

Очень удачно прошло выступление Есенина. Он заявил, что не видит, кто мог бы занять в литературе место имажинистов, что крылатый Пегас прочно и надолго. Имажинисты никуда не уйдут и завоёванных позиций не уступят.

– А судьи кто? – заканчивая свою речь, воскликнул поэт. И, показывая на Аксёнова, выделявшегося большой рыжей бородой, бросил в зал: – Кто этот гражданский истец, есть ли у него хорошие стихи? Ничего не сделал в поэзии этот тип, утонувший в своей рыжей бороде!



С. Есенин

Этот разящий есенинский образ потонул в громком хохоте не только зала, но и президиума. Последовало предложение предоставить имажинистам последнее слово, то есть прочитать свои последние произведения. Есенина долго не отпускали со сцены. Суд закончился аплодисментами благодарных слушателей.

Через две недели, 17 ноября, в ответ на суд над имажинистами в Политехническом музее состоялся суд над литературой. Основным обвинителем был Грудинов, прозванный поэтами Иваном Тишайшим. На этот раз он говорил с увлечением, громко, чеканно. Критиковал символистов, акмеистов, а больше всего футуристов. Маяковский попытался отвести острие критики от футуристов на их соперников.

– На днях я слушал дело в народном суде, – начал он защиту. – Дети убили свою мать. Они, не стесняясь, заявили на суде, что мать была дрянной женщиной.

Зал зашумел, не понимая ещё, к чему поэт клонит. А он с торжеством закончил:

– Преступление намного серьезней, чем это может показаться на первый взгляд. Мать – это поэзия, а сыночки-убийцы – имажинисты!

Аудиторию взорвало. Поклонники футуристов аплодировали, противники – недовольно кричали и свистели. Ответил Маяковскому Есенин. Без шапки, в распахнутой шубе, он стоял на сцене, покачиваясь из стороны в сторону, и зло бросал в зал:

– У этого дяденьки – достань воробышка – хорошо привешен язык. Ученик Хлебникова Маяковский всё ещё куражится. Смотрите, мол, на меня, какая я поэтическая звезда, как рекламирую Моссельпром и прочую бакалею. А я без всяких прикрас говорю: сколько бы ни куражился Маяковский, близок час гибели его газетных стихов. Таков поэтический закон судьбы агитез!

– А каков закон судьбы ваших «кобылез»? – крикнул с места Маяковский.

– Моя кобыла рязанская, русская, – тут же перебивал Есенин. – А у вас облако в штанах! Это что, русский образ? Это подражание не Хлебникову, не Уитмену, а западным модернистам.

Перепалка шла бесконечно. Аудитория волновалась, бурно реагируя на остроты своих кумиров. Закончился процесс, к удовольствию присутствовавших, чтением стихов, которые всех примирили.

В январе 1921 года в Большой аудитории Политехнического проходил необычный вечер – «чистка» поэтов. Устроители его ставили перед собой задачу показать любителям прекрасного, кто есть кто в новых послереволюционных условиях. Задачу мероприятия чётко сформулировал Дмитрий Фурманов:

– Важно творчеству поэта дать общественную оценку, определить его место в современности вообще и в поэзии в частности: нужен ли он новому времени, новому классу, совершенно новому строю мыслей, которым живёт советская Россия.

Чистка проходила под одобрительные крики и улюлюканье зала. Современник меланхолически отмечал: «Пожалуй, ещё недолго – и кипучие споры публики перерастут в драки и мордобой».

Вот на сцене появляется группа молодых людей. Некоторые длинноволосы, некоторые с умопомрачительными бантами вместо галстуков, некоторые в неподпоясанных широчайших блузах. Словом, по внешнему виду это, несомненно, поэты, но имён их никто не знает.

Вечер вёл Маяковский. Он дал слово каждому из явившихся на судилище. З. Мендлин вспоминал:

– Они вставали один за другим, читали стихи, как правило, плохие, и, очень довольные, улыбались даже тогда, когда Маяковский несколькими острыми словами буквально уничтожал их и запрещал писать. Некоторых присуждали к трёхлетнему воздержанию от стихописательства, давая время на исправление. Публика потешалась, шумела, голосовала.

Посчастливилось в тот вечер немногим. Так, Маяковский взял под защиту Алексея Кручёных с его косноязычным «Дыр бул щыл убеш шур скум вы со бу р л эз». Под весёлый смех и свист зала Владимир Владимирович уговорил публику признать откровенную заумь Кручёных поэзией.

Воем и свистом встретила аудитория появление на сцене ничевоков. Их было трое. Все в высоких крахмаленых воротничках, с белыми накрашенными манишками, в элегантных чёрных костюмах, с волосами, сверкающими бриллиантином. И это в голодном и холодном городе, со сплошь обносившимся населением.

Ничевоки читали свой поэтический манифест, но из-за шума, стоявшего в зале, их не было слышно. Но постепенно зал успокоился, на какое-то мгновение даже выразил чувство солидарности с группой, отрицавшей всё и вся.

– Как ни потешны были эти три ничевока, кое-что в их манифесте понравилось публике. Одобрительно приняли заявление, что Становище ничевоков отрицает за Маяковским право «чистить» поэтов.

Но поддержка аудитории тут же сменилась топаньем ног и свистом, когда ничевоки предложили Маяковскому отправиться к Пампушке на Твербул чистить сапоги прохожим. Присутствовавших возмутила не суть предложения, а форма – его фамильярность (ничевоки посмели назвать памятник Пушкина «пампушкой»). Тут же послышались выкрики:

– Да здравствует Пушкин!

Меньше повезло А. Ахматовой. Маяковский полагал, что на страницах истории она займёт скромное место, но для новой эпохи – это анахронизм. Поэт даже не очень удачно составил, что вот, мол, пришлось юбку на базаре продать – и уже пишет, «что стал каждый день поминальным».

На голосовании был поставлен вопрос о запрещении Ахматовой три года писать стихи – пока не исправится. Аудитория с энтузиазмом поддержала Маяковского. Многие из молодёжи поднимали по две руки.

Но вот дали слово очередному поэту, вышедшему прямо из зрительного зала. Молодой человек прочитал неплохое стихотворение, написанное профессионально, но холодно. Под одобрительные возгласы публики Маяковский вдребезги разделал услышанные вирши. В ответ «поэт» заявил, что это не его стихотворение.

– Кто автор? Кем написано? – слышалось из зала.

– Валерием Брюсовым, – под хохот, свистки, аплодисменты и крики зала ответил молодой человек.

Это не смутило ведущего.

– Товарищи и граждане! – прогремел его голос.

«Иззябся я в Париже»

В 1983 году в Музей истории Москвы поступило шесть писем классиков русской литературы А.И. Куприна. Путь их в одну из сокровищниц национальной культуры был непрост и поучителен.

...В апреле 1961 года в Правление Союза писателей СССР пришло любопытное сообщение из Конотопа. «Обращаюсь к Вам со следующим, – писала Н.Н. Рябухина. – Мой отец, который живёт в США в городе Голливуде, некогда был в дружеской переписке с писателем Куприным. У него сохранилось несколько писем покойного Куприна, которые мой отец хотел бы переслать в Россию, в какой-либо музей, если, разумеется, они составляют ценность в литературном или историческом отношении. Он уже старик и боится, что после его смерти письма просто выбросят. Он просит меня узнать, куда и кому их надо переслать».

Сообщение Рябухиной попало к секретарю Правления Союза писателей СССР М.В. Воронкову, который выразил большую заинтересованность советской писательской организации в получении писем замечательного русского прозаика. 30 ноября Правлением было получено второе сообщение Рябухиной, в котором говорилось: «Посылаю обещанные письма покойного писателя Куприна, адресованные им моему отцу Никандру Михайловичу Рябухину. Одновременно приобщаю к письмам пояснение моего отца о причинах и цели завязавшейся в своё время между ними переписки. Буду очень рада, если эти письма представляют собой какой-либо литературный интерес».



А. Куприн в гостинице «Метрополь»

Из записки Н.М. Рябухина узнаём следующее. Знакомый Никандра Михайловича как-то написал ему из Парижа, что Куприн живёт в сильной нужде. Как раз в это время в Голливуде готовились снимать фильмы по романам Л.Н. Толстого «Воскресение» и «Анна Каренина». Рябухин подумал, что «Поединок» Куприна тоже может заинтересовать кого-нибудь из сту-

дий Голливуда, и послал запрос Александру Ивановичу. Писатель ответил, назвав совершенно незначительную сумму за экранизацию повести. Рябухин, как было принято в Америке, нашёл агента-посредника, который начал переговоры с фирмами. Поскольку от фильма не ждали сенсации, переговоры тянулись долго – около двух лет. А в 1929 году в США разразился экономический кризис, деятельность студий сильно сократилась, и дело заглохло.

В студиях затерялось несколько писем Куприна к его американскому доброжелателю, а главное, краткий набросок изменений в содержании «Поединка» для фильма. Поэтому Рябухин и был обеспокоен судьбой сохранившейся переписки.

Никандр Михайлович никогда не встречался с Куприным. Родился он в 1891 году. В 1914-м окончил медицинский факультет Саратовского университета и тогда же был призван в действующую армию, на поля Первой мировой войны. Вскоре родным пришло извещение о гибели Никандра Михайловича, но в 1925 году жена и девятилетняя дочь неожиданно получили от него весточку из США.

Оказалось, что он жив. Несколько лет бродил по свету. Затем сдал экзамен на доктора медицины и, поселившись в Голливуде, возобновил связь с семьёй.

Переписка с женой, а затем с дочерью носила первое время эпизодический характер: Никандр Михайлович то терял, то находил их снова. Но Рябухин всегда стремился принимать посильное участие в судьбе дочери, которая была благодарна отцу и писала о нём: «Судя по письмам, несмотря на долгие годы эмиграции, отец мой остался истинно русским и по натуре, и по характеру. Поэтому он свято хранил память о русском писателе Куприне, таком же эмигранте, долгие годы оторванном от своей родной почвы».

Охотно, с истинно русской широтой и бескорыстием, отозвался Никандр Михайлович на беду писателя. Простые русские люди – отец и дочь Рябухины – совершили патриотический поступок, сохранив и вернув письма одного из талантливейших русских прозаиков. Хронологически они охватывают один год жизни Куприна и касаются только одной проблемы – попытки экранизировать повесть «Поединок». Это страница эмигрантской жизни писателя, интересная сама по себе. Но кроме своей прямой значимости – содержание определённой информации, – она замечательна ещё и теми оговорками, которые характеризуют материальное положение писателя, его отношение к эмигрантской среде Парижа, борьбу со своей судьбой и нежелание покориться ей. За деловыми строками писем Куприна вырисовывается нелёгкая и грустная полоса жизни самобытного русского писателя.

Время неудержимо стремится вперёд, но в его призрачной дымке фигура А.И. Куприна не становится туманной и далёкой, а, напротив, вырисовывается перед нами всё ярче и выпуклее. Свою маленькую лепту в этот процесс познания великого русского писателя внесла простая женщина из Конотопа, которая скромно говорила о себе:

«Что касается меня, то я, собственно, не чувствую за собой какой-то особой заслуги. Я просто послужила посредником, вот и всё».

Рябухина передала письма Куприна в полную собственность Воронкову, разрешив ему распорядиться ими по его усмотрению. Письма остались в архиве Константина Васильевича, который после его смерти был передан в Музей истории Москвы. Таким образом, они поступили в музей города, в котором прошли детство и юность А.И. Куприна. Интересно и то, что как раз в период переписки с Рябухиным Александр Иванович работал над повестью «Юнкера», в которой мысленно возвращался к годам молодости, к периоду учёбы в Александровском училище, о котором говорил:

– Я весь во власти образов и воспоминаний юнкерской жизни с её парадною и внутреннею жизнью, с тихой радостью первой любви и встреч на танцевальных вечерах со своими «симпатиями». Воспоминаю юнкерские годы, традиции нашей военной школы, типы воспитателей и учителей.

Одним словом, период, к которому относятся письма Куприна, был овеян для писателя дымкой лёгкой печали по ушедшей молодости и горькими думами о потерянной родине. Живя в Париже, он меньше всего думал об этом центре европейской культуры. Мысленно Куприн был дома. Сюда, в Москву, в родной город писателя, в конце концов и вернулись из далёкого прошлого шесть его писем.

* * *

Глубокоуважаемый Никандр Михайлович!

Только сегодня получил Ваше письмо: редакции с письмами всегда очень неаккуратны.

Я готов пойти навстречу Вашему предложению относительно «Поединка». Моя работа над романом будет заключаться в том, что 1) я освобожу его от грубых моментов, 2) свяжу теснее и красивее офицерскую среду в полковую семью, 3) Романова оставлю в живых, после ранения, 4) окончу пьесу счастливой помолвкой и общим удовлетворением, что и полагается в американских фильмах.

Эту работу я сделаю в виде маленьких отрывистых сценок. Основной же сценарий, если мы сойдёмся в условиях, предоставлю опытному человеку, который есть при каждой крупной фирме.

За эту переработку и за предоставление исключительных прав я хочу получить 2 000 (две тысячи) долларов. Почти такую же сумму мне предлагала французская фирма, и разошлись мы с ней из-за пустяка.

С глубоким уважением, А. Куприн

14/VI-1927

Многоуважаемый Никандр Михайлович!

Посылаю Вам, согласно моему письму от 14 июня с. г., некоторые изменения к моему роману «Поединок», которые я нахожу для кинематографа полезными, остальные, конечно, фирма, купившая его, сделает сама.

Очень прошу Вас: при продаже обратить внимание на то, чтобы был включён в контракт следующий пункт:

Если фирма со дня подписания контракта не использует в течение пяти лет своих прав, т. е. если мой роман «Поединок» не появится в этот срок на экране, то автор имеет право продать этот роман в другие руки.

Примите уверения в совершенном почтении. А. Куприн

16 авг. 1927

Рукопись переработки «Поединка» прилагаю. А. Куприн

Дорогой Никандр Михайлович!

В тот день, когда в 9 ч утра я опустил в ящик последнее письмо моё к Вам, – в полдень я получил Ваше. Ловкое стечение.

Ну что ж? Дай Бог счастья нашей пьесе. Главное, я чувствую её в хороших руках. Немного меня удивляет, каким образом мой корпусной командир (тень Драгомирова) очутился в купе с одной из полковых дам? Но в кино всё возможно – это математический закон.

Пригодилось ли что-нибудь из моих вставок?

Ну, скажем, что дело наше не удастся. Всё равно благодаря Вашей любезности у меня останутся о нём самые приятные воспоминания.

«Дочь великого Барнума» я Вам послал не без задней, но совсем невинной цели. Из всего сильновидового, густо драматического, боевикового кинематографа я обожаю комические коротенькие пьесы со зверями... Все.

Будьте здоровы и веселы, Ваш А. Куприн

И я Вас, дорогой Никандр Михайлович, поздравляю с 1926 годом, увы, уже не девственно новым, ибо я опоздал почти на месяц. Вина в этом не моя, а Рока. По очереди были больны тяжёлой формой французского тифоидного гриппа. Сначала я, потом жена, а потом – и до сих пор – дочка: рекомендую Вам, киноартистка, снимается у Марселя Л'Эрбье, я видел на днях просмотр с её участием фильма *Le Diable au Coeur*.

Небольшое опоздание всё же не мешает мне пожелать Вам счастья, радостных дней и, главное, здоровья в этом году. Конечно, в Лос-Анджелесе люди и не думают о здоровье, но я сужу по Парижу, который зимами весь чихает, кашляет, страдает ревматизмами и часто мимо моих окон отправляется, лёжа в чёрной колеснице с султанами, на постоянную квартиру.

Сердечно Ваш А. Куприн

Пригодились ли мои заплаты и надшивки? А.К.

Дорогой Никандр Михайлович!

Вот уже и апрель в половине. Нет, нет! Я вовсе не собираюсь Вас торопить или надоедать Вам. Со спокойствием древнего спартанца я встречу весть о неудаче нашего предприятия. Но, наверно, Вы сами знаете, как изматывает сердце и нервы ожидание?

Тем более что у меня наша кинозатея связана тесно с мечтой поистине невинной. Я уже давно облюбовал себе (по географической карте) городок в Провансе, который называется *Cheval-Blanc*.

Об этом городишке даже ни один француз, сколько я их ни опрашивал, не слышал. А я знаю, что там меня ждут: тишина, уют, солнце и упорная работа над большим романом «Юнкера».

Иззябся я в Париже как последний сукин кот, и голова моя мутится и трещит от эмигрантской болтовни, от газет и от литературного местничества. Вот почему я Вас беспокою, на что прошу не сердиться. Есть ли надежда?

У нас как-то всегда выходило, что мы – антиподы – часто писали друг другу одновременно. Итак: жду. Короче не скажешь.

Ваш сердечно А. Куприн

Многоуважаемый Никандр Михайлович!

Очень прошу Вас не думать, что я стараюсь поторопить Вас или нервничаю. Нет, только ради планировки будущих семейных и личных дел мне хотелось бы справиться о судьбе «Поединок-фильм».

От неудачи я в отчаяние не приду. Но если выйдут у Вас свободный час и добрая минута, потрудитесь мне черкнуть два слова хотя бы «а мит ден открытес».

Преданный А. Куприн

«Я признал и отказался»

«То был отец, то вдруг он – враг». Её знают все, кто интересуется творчеством А. Твардовского. 33-летний поэт стоит перед деревом, изуверенным снарядом. Это всё, что осталось от хутора, в котором прошли два первых десятилетия его жизни.

Покорёженный древесный ствол и буйное разнотравье вокруг. В отдалении лес – чахленькие, будто боящиеся быть красивыми, берёзки; тёмные, корявые ольхи; ракиты, торчащие кривыми ветками; болотцы, приближающиеся с буграми, а над этим бедным пейзажем – небо родниковой синевы.

*Ничем сторона не богата,
А мне уже тем дорога,
Что там наудачу когда-то
Моя народилась душа.*

В свои пенаты Александр Трифонович приехал 26 сентября 1943 года – на следующий день после освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. На фотографии мы видим Твардовского в военной форме и с обнажённой головой. Он стоит, скорбно склонив голову.

По воспоминаниям поэта, в Загорье он приехал, чтобы найти место, «где был наш двор и сад, где росли деревья, посаженные отцом и мною самим. Не нашёл вообще ни одной приметы того клочка земли, который, закрыв глаза, мог представить себе весь до пятнышка и с которым связано всё лучшее, что есть во мне».

В очерке «По пути к Смоленску» («Красноармейская правда», 28 сентября 1949 года) Твардовский писал: «В Загорье я не застал в живых никого. Кто уцелел – подался в леса, скрывается у дальней родни, знакомых. Остальные – на каторге у немцев или в больших общих могилах, которые были мне указаны жителями других деревень.

Из прежних соседей моей семьи я нашёл только Кузьму Ивановича Иванова, который последние годы жил в Смоленске, и только нашествие немцев вновь заставило его искать прибежище в родных деревенских местах. Грамотный, памятный и толковый человек, он рассказал мне при нашей короткой встрече всё, что знал о наших общих знакомых, родных, близких, о горькой и ужасной судьбе многих из них».

Загорье вошло в память и душу поэта, хотя мысли о пенатах не во всём оставались радужными. «Эта связь, – говорил Твардовский, – всегда была дорога для меня и даже томительна».

Признание двойственности воспоминаний о Загорье далеко не случайна. Более того, определение «томительный», мягко говоря, слабо отражает суть духовных переживаний Твардовского. Но начнём с первого.



А. Твардовский на пепелище деревни Загорье

«Всегда была дорога». Отец поэта, Трифон Гордеевич, был прекрасным кузнецом, что играло весьма существенную роль в поддержании крестьянского хозяйства на неудобистой, болотистой земле; труд на ней был тяжёл и малопродуктивен. Александр Трифонович писал позднее о руках отца:

*В узлах из жил и сухожилий,
В мослах поскрюченных перстов —
Те, что — со вздохом — как чужие,
Садясь к столу, он клал на стол.
И точно граблями, бывало,
Цепляя ложки черенок,
Такой увёртливый и малый,
Он ухватить не сразу мог.*

*Те руки, что своею волей —
Ни разогнуть, ни сжать в кулак:
Отдельных не было мозолей —
Сплошная.
Подлинно — кулак!*

Мать поэта, Мария Митрофановна, была дочерью дворянина-однодворца Плескачёвского, который потерял дворянство, так как не мог заплатить 25 рублей за фуражку – последний знак принадлежности к благородному сословию.

У Трифона Гордеевича и Марии Митрофановны было семеро детей: Константин, Александр, Анна, Иван, Павел, Мария и Василий. Жили трудно. Семья еле сводила концы с концами: изнурительные работы на пашне в мелких болотцах, замшелых березничках, кочковатых полянках не вознаграждались желанным урожаем. На нивах, отвоёванных у кустарников, озимые подопревали, и на них нередко приходилось пересаживать яровыми.

Дети росли в труде и любви к окружающей природе. Шура пас скотину, ходил косить, запрягал лошадь. Последнее освоил в совершенстве и помнил, уже будучи главным редактором журнала «Новый мир». Один из его сотрудников вспоминал:



А. Твардовский

– Как-то он совестил при мне литератора, допустившего оплошность в описании конской сбруи. И когда тот заупрямился – в наших краях так было, Твардовский предложил ему: пере- скажите по порядку, как коня запрягают. И поглядывал на него с укоризной, когда тот путался.

Приобщал Трифон Гордеевич сыновей и к своей профессии: в кузнице Саша помогал отцу раздуть меха.

*Я помню нашей наковальни
На всю округу внятный звон,*

*Такой усталый и печальный,
Такой живой, как будто он*

*Вещал вокруг о жизни трудной,
О долгом дне и красном сне
В той бездорожной, малолюдной,
Лесной болотной стороне.*

*Но там, в глуши, ребёнком малым
Я видел, что за чудеса
Творит союз огня с металлом,
Покорный воле кузнеца...*

Когда Шура стал постарше, его стали посылать топить подовин – зерно сушить. В подовине было тепло и уютно. Там будущий поэт пристрастился к чтению и шутил позже:

– В подвале я стал писателем.

В доме любили книгу; в маленькой библиотечке были домики с сочинениями классиков. В школу Шура пошёл в девять лет. Из-за отсутствия нужной одежды и обуви учился с перерывами. В пятнадцать лет активно участвовал в общественной жизни: комсомол, Осоавиахим, селькор.

В тот год (1925) Александр познал сладость писательства. Темой первого стихотворения стал драчливый деревенский самогонщик. «Я писал, – вспоминал Твардовский, – что он пьёт и всё у него разворачивается, хата трухлявая, крыша течёт. А всё это было не более чем поэтический приём, отгрохал он себе на самогонку великолепную избу и жил припеваючи».

Сатира молодого селькора была замечена, и он с трепетом ждал момента, когда можно будет полностью посвятить себя творчеству. Об этих годах ожидания Александр Трифонович напишет на закате своей жизни:

*Ты помнишь, ночью предосенней,
Тому уже десятки лет, —
Курили мы с тобой на сене,
Презрев опасливый запрет.*

*И глаз до света не сомкнули,
Хоть запах сена был не тот,
Что в ночи душные июля
Заснуть подолгу не даёт...*

*То вслух читая чьи-то строки,
То вдруг теряя связь речей,
Мы собирались в путь далёкий
Из первой юности своей.*

*Мы не испытывали грусти,
Друзья – мыслитель и поэт.
Кидая наше захоlustье
В обмен на целый белый свет.*

И в один прекрасный день, не сказавшись родным, Александр уехал в Смоленск. Там он предложил свои услуги в редакции газеты «Рабочий путь». Ему сразу повезло: взяли хроникёром, и он познакомился с Ефимом Марьенковым, известным в области писателем, участником Гражданской войны. Тот предложил Твардовскому пожить у него.

Во втором часу ночи, когда газета уже вышла, отправились с Марьенковым в дальний пригород, самый захудалый район Смоленска. Там, как оказалось, Марьенков снимал крохотную проходную комнату, почти без мебели. Посидели у подоконника, попили чай, гостеприимный хозяин говорит: «Ну, будем спать ложиться». А куда ложиться? Ни кровати, ни подушек, ни одеяла. Твардовский глядел растерянно. Тут Марьенков и научил: приспустить брюки и концы штанин завернуть, чтобы ноги не мёрзли, выше же прикрыться шубой. Легли прямо на полу и долго не спали, играя в придуманную ими азартную игру: надо было назвать сто знаменитых людей. Впрочем, вспомнить нужно было только девяносто восемь. Двух-то они хорошо знали.

По поводу последнего Александр Трифонович говорил позднее:

– В девятнадцать лет я вдруг уверовал, что я гениален, и некоторое время ходил в сознании необыкновенного величия. Всё было. Иногда удивительно даже, как это со мною всё уже было в этой жизни.

Конечно, при такой самоиронии делать в Смоленске было нечего, и Твардовский рванул в Москву. Скитался по углам и обивал пороги редакции. Все усилия оказались тщетны. Правда, ответственный секретарь журнала «Прожектор» С.И. Вашенцов морально поддерживал молодого провинциала, но стихов его не печатал. Позднее, уже прославившись, Александр Трифонович упрекал Вашенцова за это, тот отшучивался:

– Видишь, я прав был, что тебя выдерживал. Не хотел испортить. Знал, что из тебя будет толк.

– А какое испортить, – сетовал поэт, – когда я просто был несчастный мальчишка, потерявшийся в Москве, голодный, холодный. Врут, когда говорят, что молодость всегда прекрасна. Я с горечью вспоминаю свою молодость. Почему? Первая попытка закрепиться в столице не удалась, пришлось возвращаться в Смоленск. А случилось это в начальный период коллективизации и ожесточённой борьбы против кулачества.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.